

Аркадий Блюмбаум

**МАРГИНАЛИЯ К «ДАРУ»:  
ПРОКУРОР ЩЕГОЛЕВ**

---

*Александру Долинину*

**П**оявление в таком наполненном пушкинскими цитатами и реминисценциями романе как «Дар» персонажа по фамилии Щеголев трудно, конечно, назвать случайностью. Комментируя набоковский текст, Александр Долинин не без оснований соотнес фигуру знаменитого биографа Пушкина с персонажем набоковского романа, отметив при этом сближающую обоих Щеголевых корпулентность и указав на некоторые биографические подробности, которые могли подтолкнуть Набокова в своем «пушкинском» Bildungsroman'е превратить маститого пушкиниста в весьма непривлекательного героя-пошляка – иными словами, вставив в роман «шпильку», рассчитанную на то, чтобы «уколоть» очередного (хотя бы и покойного ко времени работы над «Даром») современника (в пристрастии к таким «шпилькам» неслучайно упрекает

Годунова-Чердынцева поэт Кончеев). Долинин упомянул некролог П.Е. Щеголева, написанный в 1931 году Владиславом Ходасевичем, где отмечалось сервильное поведение оставшегося в Совдепии ученого, а кроме того, исследователь указал публикации историка 1920-х гг., посвященные Чернышевскому, которые могли попасть в поле зрения Набокова во время работы над романом [Набоков 2000: 683-684]. Комментарий Долинина не вызывает возражений, однако при этом непоясненным остается тот факт, что, преображая реального Щеголева в героя романа и отчима Зины Мерц, возлюбленной главного героя, Набоков почему-то наделяет его профессией прокурора (бывшего). Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к материалам хорошо известной полемики, имевшей место в пушкинистике 1920-х годов. Кончеев безусловно оказался прав: «поворот моды» «изъял» набоковскую «шпильку» «из употребления».

В 1924 году Владислав Ходасевич дважды – в двадцатом томе парижских «Современных записок» и в вышедшей в Ленинграде с гомерическим количеством опечаток книге «Поэтическое хозяйство Пушкина» -- опубликовал пространную работу, посвященную многострадальной пушкинской «Русалке». Следуя широко распространенному «биографическому методу», Ходасевич предположил, что в пушкинском драматическом опусе следует видеть отражение подлинной жизненной коллизии – роман ссыльного Пушкина с крестьянской девушкой, приведший к самоубийству возлюбленной поэта. На гипотезу оперативно откликнулось раздраженное «племя пушкиноведов»: построенные на рискованных догадках и предположениях «пушкинологические» разыскания Ходасевича вызвали довольно обширную (и весьма эмоциональную – вполне под стать

романтическому «предмету») печатную полемику (см. комментарии Роберта Хьюза в [Ходасевич 1999: 436-438; Ходасевич 1999а: 216-217]). Думается, что именно эта – вобщем-то «семейная»<sup>1</sup> – филологическая распря и оставила свой след на страницах набоковского романа.

Едва ли не наиболее яростным зоилом Ходасевича выступил именно Павел Елисеевич Шеголев, который в середине двадцатых годов занялся «остросовременной» (продиктованной то ли духом времени и места, то ли еще дореволюционными демократическими симпатиями ученого) проблемой «демофилии» Пушкина и его «отношением» к русскому крестьянству. Написанные Шеголевым на эту тему работы, основанные на неопубликованных архивных документах, печатались в периодике и составили вышедшую в 1928 году книгу под (кажется, предвосхищающим грядущий хармсовский анекдот) названием «Пушкин и мужики». Собирая материалы по данной теме, Шеголев, конечно, не мог пройти мимо «крепостного романа» «нашего всего». Обнаружив некоторые документы, он опубликовал в 1927 году в двух номерах «Нового мира» статью (включенную позднее в книгу), направленную в значительной степени против беспочвенных измышлений зарвавшегося Ходасевича. В частности, идентифицировав крепостную избранницу поэта и проследив ее жизненный итинерарий, он указал на то, что крестьянка не покончила с собой, а преспокойно, хотя и не очень удачно

---

<sup>1</sup> Кажется, не отмечалось, что мандельштамовское сравнение филологии с семьей возникло несколько раньше, у Андрея Белого, которого автор статьи «О природе слова» подверг уничтожающей критике. Так в замечательном трактате «Жезл Аарона», посвященном – как и эссе «О природе слова» -- проблемам поэтической семантики, Белый писал: «<...> филология – вне словесно-общественных интересов; у нее интересы – семейные» ([Белый 1917: 173], см. также далее про «семейную» квартиру филолога). Ср. у Мандельштама: «Литература – явление общественное, филология – явление домашнее, кабинетное. <...> филология – университетский семинарий, семья» и т.д. [Мандельштам 1993: 223]. Статья Белого оказалась совсем безразличной и для поэзии Мандельштама [Ронен 2002: 83-90].

вышла замуж. При этом, возражая Ходасевичу с документами в руках и праведным гневом, почтенный пушкинист – неожиданно, неуклюже и совершенно неуместно – обратился к юридической риторике: «Раз утопилась, Ходасевич уже считает себя в полном праве поставить вопрос о мрачной трагедии в жизни Пушкина, о муках совести, призывавшей его к раскаянию, о преступлении, совершенном Пушкиным. По советским, например, законам в настоящее время Пушкин мог бы быть привлечен к судебной ответственности по ст. 154 или даже 153 уголовного кодекса. Ходасевич все же полагает, что Пушкин понес наказание за свою вину, искупив ее самой огненной мукой совести. <...> Так вот какое откровение дано нам Ходасевичем! Откровение, как известно, не нуждается в доказательствах, и их нет, конечно у нашего фантаста. В своих заключениях он опирается всего-навсего на произведенное им выяснение (даже не исследование!) творческих приемов Пушкина». Причем отсутствие фактов у фантазирующего на пустом месте Ходасевича опять-таки подается Щеголевым с помощью лексикона сыскной полиции: «Никаких подтверждений фактического характера, никаких новых данных у Ходасевича нет. И даже отсутствует главная улика – нет трупа девушки»<sup>2</sup> [Щеголев 1928: 56-57].

Подобная криминализация личной жизни поэта (с апелляцией к действовавшему на тот момент УК РСФСР и указанием статей, конкретизирующих *corpus delicti*), а также «достоевское» противопоставление совести и закона, естественно привлекло внимание обескураженного и раздраженного Ходасевича. В 1928 году в тридцать седьмом номере «Современных записок», отвечая некоторым

---

<sup>2</sup> В другом месте своей книги Щеголев вернулся к юридическому дискурсу: «<...> освободим Пушкина от ответственности, к которой Ходасевич привлек его за преступление, им не совершенное» [Щеголев 1928: 109].

из своих высокоученых оппонентов, он опубликовал объемную полемическую статью «В спорах о Пушкине». Реплика Ходасевича обращена к двум его критикам – парижанину и невозвращенцу Модесту Гофману и ленинградцу Павлу Щеголеву. С готовностью признав отсутствие биографического факта, Ходасевич тем не менее не отказался от своей мысли о том, что «“Русалка” вдохновлена раскаянием» [Ходасевич 1928: 284], муками совести поэта: для придерживавшегося биографического подхода Ходасевича изменилась не общая концепция пушкинского текста, а возникла необходимость по-новому подойти к проблеме «преломления» жизненного факта в факте литературном, Wahrheit в Dichtung. При этом Ходасевич вспомнил и о «юридических» пассажах щеголевской статьи: «Если Щеголеву единственным моральным критерием кажется советское уложение о наказаниях, то не так было для Пушкина. Пушкин был “сам свой высший суд” не только в вопросах искусства, но и в области нравственной. Уступая воззрениям и обстоятельствам эпохи, Пушкин сперва легко примирился с той социальной и человеческой неправдой, которая определила судьбу брошенной девушки. Легкомысленно обольстил, легкомысленно бросил, “стряхнул с белой ручки”, как рукавицу. Легкомысленно писал об этом Вяземскому. Но *потом* <курсив Ходасевича – А.Б.> призадумался, сознал свой поступок, свою вину перед девушкой. Совесть в нем заговорила» [Цит. соч.: 285]. Идентифицируя нравственное сознание Щеголева с советским «уложением о наказаниях», Ходасевич доводит этот ход до логического конца: если «нет трупа», «совесть Пушкина, по Щеголеву, могла быть спокойна» [Цит. соч.: 287]. Ходасевич сполна ответил Щеголеву, отказавшемуся увидеть биографическую трагедию Пушкина и

«переписавшему» ситуацию (да еще и приписав эту мысль Ходасевичу) в терминах советского уголовного кодекса (и соответственно превратившему «суд совести» в уголовный суд). Полемиический ход Щеголева, подставившего на место трагического события уголовное преступление (да еще и с привлечением к делу советского криминального права), и заставил, по всей вероятности, нетерпимого к обывательской «пошлости» Набокова превратить известного пушкиниста в *прокурора*, пошляка и государственника. А упоминание 153 и 154 статей, расшифрованных дотошным Ходасевичем, не поленившимся заглянуть в УК РСФСР<sup>3</sup>, по-видимому мотивирует «свидригайловский» щеголевский монолог, в котором намечен сюжет будущих «Волшебника» и «Лолиты».

Однако набоковскую «шпильку» следует рассматривать и в более общем контексте, а именно в контексте целостного замысла романа «Дар», включая незавершенный второй том. Именно во втором томе романа Годунов-Чердынцев сочиняет окончание все той же пушкинской «Русалки»; проанализировавший набоковские наброски Долинин основательно соотнес текст главного героя романа с реконструкцией Ходасевича: смерть жены Годунова-Чердынцева, Зины Мерц, и муки раскаяния провоцируют героя романа на завершение пушкинской драмы, которая (по словам Ходасевича) «должна была стать трагедией возобновившейся любви к мертвой» [Долинин 2004: 290]. В этом смысле появление в романе фамилии Щеголева может прочитываться не только как выпад против «врага моего

---

<sup>3</sup> «Ст. 154 предусматривает понуждение ко вступлению в связь с “лицом, в отношении коего женщина являлась материально или по службе зависимой”. Ст. 153 – изнасилование (!). Я не умею спорить о Пушкине в столь советском тоне, которым Щеголев хочет позабавить – не знаю кого. Напомню, однако, историку Щеголеву, что исторических лиц “судят” по законам и понятиям их времени. К тому же и сам Щеголев не отрицает, например, что Пушкин заложил в опекуновом совете 200 душ мужиков. “По советским, например, законам в настоящее время” камер-юнкера Пушкина за это расстреляли бы» [Цит. соч.: 285].

друга», но и как рефлекс, свидетельство внимательного и памятливого чтения Набоковым пушкиноведческой литературы, посвященной актуальным для «Дара» пушкинским текстам, в частности незаконченным<sup>4</sup>.

Интерес к полемикам пушкинистов, и в частности к превратностям «биографического метода» являлся для Набокова отнюдь не случайным. Последний русский роман Сирина, посвященный сложным взаимоотношениям жизни и литературы, оказался, тем не менее, направленным не только на литературу (будучи прежде всего своеобразным описанием «литературного поля», системы позиций), но в известном смысле стал ответом пушкинистике 1910-1920-х годов (в том числе и самому Ходасевичу) с ее захваченностью биографией Пушкина и биографическими прочтениями вообще (о «жизни Пушкина» в культуре русского модернизма см. [Паперно 1992]). Существование русской литературы «под знаком Пушкина» с конца девятнадцатого века – то есть со времени появления «нового искусства» и одновременно академической пушкинистики – превращало поэта не только в «проблему» словесности, но и науки о ней; в результате возникла ситуация, когда формирование литературной

---

<sup>4</sup> И не только, конечно, научной. Так, например, диалог Годунова-Чердынцева и Кончеева, в котором речь идет как раз об окончании «Русалки», содержит указание на печатную полемику почти пятнадцатилетней давности (!): «Я продолжил и закончил <<Русалку> – А.Б.>, чтобы отделаться от этого раздражения. К<ончеев>: Брюсов и Ходасевич тоже. Куприн обозвал В.Ф. нахальным мальчишкой – за двойное отрицание» [Долинин 2004: 282]. Poleмика Ходасевича и Куприна, о которой идет речь в наброске, имела место в 1924 году по поводу стихотворения Ходасевича «Романс» – окончания пушкинского наброска «В голубом эфире поле» (подробнее см., например, [Ходасевич 1999: 445]). Куприн предъявил Ходасевичу стилистический упрек за четырехкратное отрицание в трех строчках текста (И супруга не глядит, / Белой грудью не вздыхая, / Ничего не говорит): именно этот упрек имеет в виду Набоков, говоря о «двойном отрицании». В контексте романа «Дар», который по признанию самого Набокова должен был называться «Да», упоминание «отрицания» могло провоцировать появление важных идеологических контекстов. «Мальчишка» -- намекает на малодостоверные – по признанию раздраженного Ходасевича – и несколько «патерналистские» воспоминания Куприна, которыми он поделился в своем открытом письме поэту (В. Ходасевич. А.И. Куприну // *Последние новости*. 22 мая. 1924; текст Куприна остался мне недоступным). Обозленный ответом Куприн вторично принял позу литературного мэтра в заметке от 11 июля, назвав Ходасевича «начинающим стихотворцем» [Ходасевич 1999: 444]. Эти два выпада Куприна и отложились в «мальчишке» из набросков ко второму тому «Дара».

позиции (то есть самоопределение писателя относительно Пушкина) приводило к формированию концепций, которые могли быть экстраполированы в область профессионального пушкиноведения: так возникает целый ряд литераторов, стремящихся внести свой вклад в «науку о Пушкине» (в этом смысле набоковский комментарий к «Евгению Онегину», по всей вероятности, можно считать последним текстом «писательского» пушкиноведения Серебряного века). Выстраивание своей литературной позиции, предполагавшее соотнесение современности с наследием Пушкина и соответственно выработку собственного (неизбежно полемичного) взгляда на фигуру поэта, по всей вероятности, и заставляло Набокова уже в 1920-30-е гг. присматриваться к пушкиноведению, на территорию которого он профессионально и основательно «заедет» в 1950-х.

В «Даре» точке зрения, согласно которой жизнь поэта оказывается не менее (если не более) важной, чем его произведения, когда романтический интерес к личности творца заслоняет его творчество, низведенное на уровень тривиального «отражения», Набоков противопоставляет свою «теорию литературы», разводя тексты и биографию, поэтический дар и общественное служение, литературу и социум<sup>5</sup>, творца Пушкина и не-творца Чернышевского, автора «маленькой мертвой

---

<sup>5</sup> В контексте этих противопоставлений более ясным становится набоковское понимание литературы как природы. Творчество для Набокова – не результат и не отражение общественных идей, а реализация природного дара; именно поэтому механизм приобщения к литературной традиции может подаваться Сириным через мотивы поедания, то есть буквального, почти евхаристического «усвоения» великого предшественника (именно поэтому Годунов-Чердынцев буквально «поедал» Пушкина, Пушкин «входил в его кровь»). Такое органическое понимание словесности неизбежно подводит Набокова к натуралистическому, «естественному» истолкованию литературного дарования. Собственно говоря, отсюда и возникают начальные пассажи набоковской книжки о Гоголе, посвященные «the curiously physical side of Gogol's genius» [Nabokov 1944: 3]. Гипертрофированные ольфакторные способности (хотя и не только они) автора «Мертвых душ» – прежде всего его знаменитый, почти проverbsальный нос – напрямую прочитываются в качестве истока гоголевской литературы: писатель в *буквальном* смысле слова вбирает в себя все естественное богатство мира, все его запахи. Отсюда и зловеще-символический подтекст всей сцены умирания («This is why there is something dreadfully symbolic in the pathetic scene» [Ibid.: 5]),



книги», (героическая и одновременно комическая) жизнь которого становится предметом биографического повествования Федора Годунова-Чердынцева [Dolinin 1995: 154-155]; [Долинин 2004: 134] – в качестве двух непримиримых полюсов русской словесности. С этой точки зрения, все произведения Пушкина (не только «Русалка» или «Египетские ночи» -- текст, активно цитируемый в «Даре») оказываются как бы недописанными, и пока они продолжают – в прямом и переносном смысле – дописываться, продолжается русская литература.

---

когда отвратительные пиявки, свисающие с гоголевского носа, высасывающие кровь «физикалистски» изображенного творца, превращаются в жутковатую метафору – иссякание физических сил совпадает с угасанием литературного дара. И хотя все сцена превращена Набоковым в своего рода аллегория его органицистской «теории литературы», он оставляет читателю возможность в том числе и дословного, буквального органического понимания «природы» гоголевского гения. В «Даре» идеальным воплощением литературы как природы, совершенной органоморфности словесности – когда Аполлон и Ниобея пушкинских стихов одновременно оказываются разновидностями бабочек, то есть когда слова набоковского романа соединяют (благодаря единству номинации) природу и литературу до их полной неразличимости, до своего рода идеальной мимикрии, идеального мимесиса – является творчество Пушкина, чей голос, как хорошо известно, сливается в сознании главного героя с голосом его отца-натуралиста. «Необщественность» Годунова-Чердынцева в романе подчеркивается и отсылками к «Египетским ночам» (подробнее см. [Сендерович 1997]). Манкирующий житейским благополучием Федор, занятый исключительно экономикой своего «поэтического хозяйства», идущий наперекор «социальным заказам», последовательно ведет себя как своего рода антиимпровизатор (причем в роли импровизатора выступает именно Чернышевский). В этом контексте реминисцентными кажутся размышления героя, спешащего на очередной урок: «вот он <...> тратит юность на скучное и пустое дело, на скверное преподавание чужих языков, когда у него есть свой, из которого он может сделать все, что угодно – и мошку, и мамонта, и тысячу разных туч» [Набоков 2000: 344]. Данный фрагмент, по всей вероятности, восходит к первому эпиграфу «Египетских ночей»: «На c'est un grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut». Неслучайно, когда несколько ранее заходит разговор о малоудачном репетиторстве героя, Набоков отмечает, что «Федору Константиновичу казалось, что тот <престарелый ученик – А.Б.> наконец убедится в неумелости учителя, но из жалости к его поношенным штанам длит и будет длить до гроба эту взаимную пытку» [Цит. соч.: 266]. «Поношенные штаны» возвращают нас к пушкинскому эпиграфу, точнее к его второй части: «Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte». Практически – в духе шестидесятых годов – настроенный Чернышевский получает многократные удары судьбы, в то время как беззаботный Федор «на дармовщинку» награждается ее *дарами*. В семантику «дара» у Сирина, как кажется, попадает и эта «антиэкономическая» составляющая, неудивительная в случае Набокова – по всей видимости, впитавшего с дореволюционных лет «комплекс» наследника (огромного состояния), а после революции моделировавшего свою позицию как позицию законного наследника великой литературной традиции.

## ЛИТЕРАТУРА

- А. Белый 1917. Жезл Аарона // Скифы. сб. 1.
- А. Долинин 2004. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб.: Академический проект.
- О. Мандельштам 1993. Собрание сочинений в четырех томах. М.: Арт-Бизнес-Центр. Т. 1.
- В. Набоков 2000. Русский период. Собрание сочинений в пяти томах. СПб.: Симпозиум, Т. 4.
- И. Паперно 1992. Пушкин в жизни человека Серебряного века // Cultural Mythologies of Russian Modernism. From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
- О. Ронен 2002. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.: Гиперион.
- С. Сендерович 1997. Пушкин в «Даре» Набокова: фигура сокрытия // *Пушкинский сборник*. Иерусалим, вып. 1.
- В. Ходасевич 1928. В спорах о Пушкине // *Современные записки*. XXXVII.
- В. Ходасевич 1999. Пушкин и поэты его времени. В трех томах: том первый (Статьи, рецензии, заметки 1913-1924 гг.) // *Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts*. Vol. 42 (Berkeley Slavic Specialties).
- В. Ходасевич 1999а. Письма к М.А. Цявловскому (публикация Роберта Хьюза) // *Русская литература*. № 2.
- П.Е. Щеголев 1928. Пушкин и мужики. М.: Федерация.
- A. Dolinin 1995. The Gift // *The Garland Companion to Vladimir Nabokov*. New York and London: Garland.
- V. Nabokov 1944. Nikolai Gogol. Norfolk, Connecticut: New Directions.

